

Ольга Сетько
(Могилев — Минск)

ОБРАЗЫ ПОЛЯКОВ В КНИГЕ А. М. РЕМИЗОВА «ИВЕРЕНЬ»

В статье исследуется автобиографический миф А. Ремизова, основанный на близких отношениях с поляками из числа политических ссыльных (Северная ссылка писателя), рассматриваются образы поляков, созданные писателем в книге «Иверень» и в личной переписке.

Ключевые слова: автобиографический миф, польская культура, польский менталитет, образы поляков, польский модернизм, польский текст.

The article investigates the Remizov's autobiographical myth, based on close relations with the Poles among political exiles (writer's North reference). The article examines images of Poles in the «Iveren» and personal correspondence.

Key words: autobiographical myth, Polish culture, Polish mentality, images of Poles, Polish modernism, Polish text.

А. М. Ремизов при жизни активно творит миф о себе, вплетая в реальные факты биографии элементы Древнерусской литературы, знатком и ценителем которой он был¹, добавляя детали из западноевропейской культуры, за развитием которой с интересом следил. В научной среде сложилось мнение о творчестве А. Ремизова как специфическом синтетическом варианте русского авангарда и символизма с обязательным обращением к древнерусскому наследию: «Для художественного мышления писателя основным был метод проведения

¹ Н. Резникова отмечает: «Ремизова часто характеризуют как писателя специфически русского, замкнувшегося в древнерусском мире. Со своей стороны скажу, что среди русских писателей трудно назвать кого-нибудь, кто бы так глубоко знал и понимал культуру Запада, как Ремизов. Он прекрасно разбирался в различных течениях в искусстве и мысли на Западе, включая самые современные, никогда не застывая на месте и с жадным интересом прислушиваясь к новому» [12, с. 62].

исторических аналогий между современными событиями и предшествующими явлениями русской истории» [5, с. 588].

Смешивая биографические факты и вымысел, сон и явь, Ремизов создает в эмиграции в конце 1940-х гг. цикл эссе, которые будут изданы лишь после смерти писателя, в 1983 г., в книге «Иверень», где за сказочной [11] природой прочитывается польский текст – цельная авторская картина польской культуры.

Польская тема органично вплетается в мультикультурный автомиф А. М. Ремизова. Согласно воспоминаниям писателя, со знакомства с польскими ссыльными на Севере началось его увлечение польской культурой, польским символизмом. Позже Ремизов поддержит и разовьет «литвинскую» семейную легенду С. Довгелло, а она в свою очередь приобщит мужа к белорусско-литвинскому фольклору, генетически связанному с польским.

Ремизов признавался: «Научила меня С<ерафима> П<авловна> по-польски переводить» [10, с. 166]. Подобное признание находим в письме В. Г. Тучапской: «С<ерафима> П<авловна> научила меня польскому. Упиваюсь Chimer'ой» [10, с. 187]. Однако у А. М. Ремизова возникало слишком много вопросов по поводу перевода отдельных слов и фраз, что «ставило под сомнение и глубину знаний его “сопереводчицы” с польского — С. П. Ремизовой» [10, с. 182].

С. П. Довгелло не только научила супруга польскому языку, но и открыла Ремизову польский модернизм, познакомилась с журналом «Химера», и «именно польская литература явилась во многом той “литературой-посредницей”, через которую происходила аккумуляция нового эстетического языка» писателя [10, с. 155 – 156].

Увлечись литературой западных соседей, Ремизов вводит польскую модернистскую драму в российский театральный оборот. Он видит и чувствует польскую литературу как одну из ближайших русской, созвучную и потому понятную русской душе, однако при этом являющуюся частью европейской культуры и, прежде всего, европейского модернизма.

Интересно, что сезон 1903 – 1904 гг. театр Мейерхольда прошел под знаком пьесы С. Пшибышевского «Снег» в переводе супругов Ремизовых. Параллельно с ними эту пьесу переводил в Петербурге А. А. Блок: в сентябре 1903 г. В. Кожевников пишет А. Ремизову: «Из перечисленных Вами

иностранных произведений Вы едва ли выбрали самое удачное для перевода <...> «Снег» для меня уже переводят в Петербурге, раньше Вашего письма» [10, с. 173]. Перевод А. Блока сегодня доступен для чтения и исследований, о переводе Ремизовых сохранились только упоминания.

В ссылке в польский круг Ремизова входит польско-зырянская семья с причудливой для русского Севера фамилией Геллер. В ней Ремизов соединяет два мира – близкий к первобытному зырянский (с разоренным капищем у дома) и польский, мистически-колдовской: младшая дочь Оде – Кикимора, старшая Марьяна – «на глаз немка, в бабушку Геллера», наполовину поляк, «любила сказки про оборотней: как наговором можно обратить человека в медведя, лягушку, зайца, лошадь, собаку – на срок и до отговора» [13, с. 408]. Глава семьи – поляк Геллер уехал на родину (г. Познань, Польша) пять лет назад и пропал, «как в воду канул». Мотив водной стихии повторяется в истории с первым мужем хозяйки: «году не прошло со свадьбы утонул в половецье – “Кутья-войса приревновала!”» [13, с. 402]. Гибель в водной стихии или отъезд на родину в интерпретации Ремизова – равнозначные понятия: вода и память (привязанность) одинаково безвозвратно забирают человека.

Одним из ключевых понятий для прочтения Ремизова становится «польская душа». Оно раскрывается через ряд концептов: речь (звучание и восприятие), тоска, склонность к мистическому мировосприятию, бунтарский дух и др.

В «недобром» доме зырянки Геллер Ремизов живет в одной комнате с «ссылными из Вильны сапожниками» [13, с. 403] – паном Яном и паном Анжеем. Символично расположение кроватей («к окну на волю – пан Ян, к двери – пан Анджей» [там же]), отражающее имманентное чувство польской внутренней свободы. О своем спальном месте повествователь говорит: «в моем углу» [там же], – что символизирует не только «угол» как место обитания (пристанище, дом), но противопоставленный выходу стык стен, как бы призывающий скрыться от чужих глаз, забиться в угол.

Свободолюбие и бунтарский дух, свойственный полякам, переданы во вскользь упомянутой сцене: «забредший сапожник Петров, тоже ссылный, из Вильны, лихой гармонист, на грибных ножках, запустил *Варшавянку* <...> Так под

Варшавянку и тронулось «персидское» шествие с пустыми руками назад в полицию» [13, с. 415].

Одним из важнейших компонентов художественного мира Ремизова являются речевые характеристики. Голоса пана Анжея и пана Яна, тихих соседей по дому, поначалу слышались повествователю мягко, «без трывков и цапу» [13, с. 403]. Но весеннее пробуждение обнаруживает истинные лица героев: пан Ян оказывается заносчив, в его облике преобладает звуковой диссонанс: «голос [пана Яна] – пила, а у пана Анжея – с вылетом или гавком», более того, «если по-польски для русского уха и самое домашнее, при подстукивающем цоканье, кажется всуерьез, но когда дело доходит до ругани, тут только и ждешь: набросятся – и кусать» [13, с. 413]. Писатель признается, что для его «московского уха ополяченное русское, как древлянам поляне: все только настраивается, а музыки нет. Уж и так и этак, а разговора не выходит» [13, с. 440]. Речь приятеля Ремизова, революционера Б. Савинкова, – «никакой влаги, никакой напоенности, – камень. По произношению – польско-русская смесь. И не скажешь наверное – русский, воспитанный в Варшаве, или поляк, говорящий по-русски» [13, с. 505]. Голос варшавского революционера Каляева Ремизов характеризует так: «В его [Каляева] чтении русских звуков я не слышу: Варшава и его мать полька, а отцовское не узнаешь, и почему Ка-ля-ев, трудно понять» [13, с. 441]. Возможно, Ремизов принял за польскую речь один из белорусских диалектов [4], что в любом случае свидетельствует о музыкальном слухе самого Ремизова, а также о диссонансирующем звуковом сочетании двух культур – русской и западной, польской или близкой к ней.

Интересной характеристикой поляков становится щегольство, европейский шик, который они привнесли в северную провинциальную тишину: «Лесничиха затеяла к пасхе сшить себе какие-то невообразимые туфли: чтобы неслышно ходить и каблуком притоптывать: “Как у Мария Антуанетты!” – объяснила она <...> Тоже и околоточный Павлушкин – откуда такое запало, но чтобы сшить ему к Пасхе сапоги, как у виленского брендмейстера и со скрипом в такт с корнет-а-пи-стоном» [13, с. 413]. Эти весенние «перевертыши» – попытки следовать моде, ориентир на европейские тенденции, ведь до появления поляков никто из местных жителей не думал

о стиле Марии Антуанетты или подражании виленскому брандмейстеру.

Характерной чертой польского характера в ремизовском описании предстает умение найти объект преклонения и обожания, хоть рыцарское служение Даме сердца несколько трансформировалось в суровых условиях: «как зимой к спанью пристрастились они, выражаясь модным словом времен Новикова, <...> «махаться» (ударять) за Аннушкой и, конечно, ссорятся друг с другом до грызни» [13, с. 413]. Кроме того, гордость, мнительность, преувеличенная обидчивость – также отличительные черты польского характера (вспомним открытое письмо скандалиста А. Келзы, не выслушанного Олей (С. П. Довгелло) и Оводовым).

Романтические рыцарские подвиги пана Яна скрывали трагическое мироощущение: «На Красную Горку пан Ян не выдержал и вышел прогуляться. И только во вторник вернулся драный, испитой и вихрастый и не глядя, сел молчком <...> ссыльный поляк от Геллер нетвердо вошел в сарай, растегнув себе штанной ремешок, повесил на крюк и стал прилаживаться, но тут его спугнули, был он очень недоволен и ругался, слов только не разобрать» [13, с. 415].

Польский трагизм, согласно Ремизову, можно считать эталонным качеством, «ведь только польская скорбь так скорбяща – панн и паненок, согнанных с родной земли на суровый север» [13, с. 443]. Писатель впечатлен трагизмом героев С. Пшибышевского: «С любовью к Еве была неразлучна боль тоски о чем-то новом, о “новых мирах”, и только ценою мучительнейшего перелома он освободился из-под этих чар <...> Творчество, искусство — это великое томление духа, тоска о неведомом, неизведанном, тоска, разряжающаяся в мучительных вспышках созидания <...> Поднялась “тоска по тоске”» [10, с. 156 – 157].

Параллельно с переводом пьесы С. Пшибышевского Ремизов работает над переводом его же стихотворения «Тоска», сделанного И. Каляевым и поэтому вдвойне ценного для писателя. Схожесть Каляева с героем польской модернистской драмы «Снег» делает для Ремизова логичным переводческий мотив в революционной биографии: «Пшибышевский легок на помине: Каляев перевел “Тоску” Пшибышевского» [13, с. 441].

Возникает литературный треугольник: Пшибышевский – Ремизов – Каляев, который можно рассматривать как символ модернистских исканий, объединивший родственные души русских и польских писателей (согласно одному из писем Ремизова, Пшибышевский «находит перевод <...> “Тоски” таким, о котором он “не мог подумать, не мог погрезить”. Он “ужаснулся родственности»» [10, с. 168].

Этот же «мотив скорби, тоски по невозможному счастью» [10, с. 158] Ремизов увидит в стихах Казимира Людвиговича Тышки, имя которого находится в ряду важнейших для писателя (заочно включено в список знакомых по ссылке, хотя русский писатель и польский поэт никогда не встречались). Ремизов называет Тышку «рыцарем», «человеком тончайшей души и одаренным» [13, с. 482]. Влюбленный, по семейному преданию, в С. П. Довгелло, К. Тышка покончил с собой из-за безответной любви. У Ремизовых сохранилась тетрадь с польскими стихами – «характерными “декадентскими” произведениями, стилистически близкими Ст. Пшибышевскому» [10, с. 158], и издать их писатель считал для себя делом чести.

«Узнавание» Ремизовым польской тоски предсказывает А. И. Ильин, считавший писателя выразителем некоего непреодоленного человеком первородного греха, приведшего человечество к «тварному» существованию [7]. Выражение этой всечеловеческой муки, тоски – суть всего творчества А. М. Ремизова.

Подробнее стоит остановиться на образах ссыльных варшавских революционеров Б. Савинкова и И. Каляева, поскольку до женитьбы, охладившей товарищеские отношения, писатель был очень дружен с ними.

Создавая образ Савинкова, Ремизов подчеркивает его изысканность во всем: то ли иронизируя, то ли искренне пытаясь задобрить главу Вологды, «пан Савинков, со всей Варшавской изысканностью, выразил губернатору благодарность и за прием и мудрое решение по делу их душевнобольного товарища» [13, с. 450]. В сказочном зачине Ремизов называет Б. Савинкова титаном: «Жили-были на Вологде три Титана: Бердяев из Киева, Луначарский из Киева ж и Савинков из Варшавы» [13, с. 434]. Титанизм Бориса Савинкова, воспитанника варшавской Первой Образцовой Апухтинской гимназии, в которой он одно время учился вместе с известным революционером-террористом И. Каляевым и где, видимо, впитал свободолюбивый

польский дух, – это не только отсылка к мифологии, но и отголосок польского прометеизма [1].

Неотъемлемой частью революционной пары был И. Каляев, который «верил Савинкову безответно» [13, с. 441]. Каляев представлялся Ремизову человеком «открытой души и горячего сердца», при этом наделенным «варшавским воспитанием»: несмотря на «горячность», он «церемонно раскланивался по-польски» [13, с. 442] – и выдержанностью: «вот бы не принять за корректора, да еще с бомбами в руках» [13, с. 441]. Имя Каляева было достаточно широко известно в кругу творческой интеллигенции: именно он, по мнению исследователей, вдохновил А. А. Блока, причислявшего варшавского революционера к истинным героям, на создание поэмы «Возмездие» [9].

Важной характеристикой «утонченных» знакомых и друзей польского происхождения становится их неприспособленность к реалиям Севера, их профессиональная невосприимчивость. Ремизов иронично замечает, что у его соседей «работы никакой – мастера-башмачники. Тонкую обувь на голую ногу в Вильне выдывали» [13, с. 403]. Польская изнеженность особенно отчетливо ощущается в контрастном сопоставлении с русскими ссыльными: «дикий голос» П. Е. Щеголева, будущего историка-литературоведа-пушкиниста, «охватывал “мистическим ужасом” старого ксендза и молодого виленского» [13, с. 444]. Порождало этот ужас диссонирующее соединение традиционно мощного русского пения и торжественного, традиционно католического инструмента – органа, усиливающих друг друга.

Разность русского и польского менталитетов подчеркнуты Ремизовым через отношение к деньгам: несмотря на финансовые затруднения ссыльных, литераторы больше всего жаждали печатной славы, уважения, известности. Щеголев советует Савинкову просить в «Курьере» аванс под будущие работы, но варшавскому революционеру «важно: напечатают или не напечатают. И никаким авансом не покроешь напечатанное» [13, с. 456].

Ремизов включает в осмысление польского характера понятие Рока как Провидения. В «Подорожии» Савинкову читаем: «Тот самый рок, который так глубоко он чувствовал в себе, вел его к <...> развязке» [13, с. 499]. Готовностью взять на себя ответственность за предначертанное будущее,

за благо общества близка польской мессианской идее: «Его [Савинкова] появление в мире было отмечено, он был избран среди позванных. В его существе были налитость, крепость, это был узел» [13, с. 500].

Кроме совместного вхождения в литературу с Савинковым и Каляевым, в знакомстве с литературными мэтрами чувствуется польский привкус: например, с недостижимым знаменитым Андреевым Ремизова знакомит Гржебин.

Таким образом, обращение к польской теме и разработка польских образов помогли писателю приобщиться к польской культуре, создавали фундамент польской линии в его творчестве. Хотя Ремизов не выступает так открыто, как Бунин, с заявлением о своих польских корнях, но при этом именно под польским знаком Ремизов входит в литературу, а позже обращается к переводам с польского и т. д.

Следует отметить, что поляки у Ремизова лишь отчасти принадлежат миру людей, природа их связана либо с мистическим небытием-наваждением, либо с мифологией: Савинков и неразрывно соединенный с ним Каляев – Титаны, дочери Геллер подобны мифологическим персонажам (Оде – кикимора, Марьяна – ведунья, знающая с нечистью).

Н. В. Гоголя, личность и творчество которого стали для Ремизова источником стилевой самоидентификации и мифотворческих проекций, писатель называл «поляком», отводя особую роль «высокопарному Гоголевскому слову в серебре польского пышного наряда» [13, с. 120], и определял его на роль болотной Кикиморы [2].

Особое лингвистическое ощущение испытывал Ремизов от прозы Бестужева-Марлинского, которого считал родоначальником русской повести: «Марлинский, как Гоголь, образец “поэтической прозы”, в нем слышится “кое-что от польской руды для русской речи”» [13, с. 472, 476].

Однако некоторые исследователи рассматривают А. М. Ремизова прежде всего как страстного почитателя Ф. М. Достоевского [6]. Ремизов проецирует на свою жизнь детали биографии великого предшественника: как и автор «Униженных и оскорбленных», он осужден по политическим мотивам, в ссылку берет только две книги, одна из которых – «Братья Карамазовы», а опыт пребывания на Севере становится основой книги «Иверень», и особое место в повество-

вании автор отводит образам ссыльных поляков (аналогично «Запискам из Мертвого дома» Достоевского)¹.

Дела террористов Нечаева и Каракозова дадут Достоевскому материал для романов (дело нечаевцев легко прочитывается в «Бесах», а в «Братьях Карамазовых» первоначальный замысел – сделать Алешу монахом, а затем революционером – уступает место иным идеям). В ссылке Ремизов увидится с одним из «каракозовцев» Д. А. Юрасовым, желая проверить, «так ли это, как у Достоевского <...> описано, или у всякого это по-своему, а Достоевский свое, исключительное, всем “смертникам” приписал» [13, с. 334 – 335].

Мотивы революции и смерти в сознании Ремизова неразрывны: писатель был ребенком, когда видел в «Ниве» «картинки» – «похороны государя». Там же печатались и другие «картинки» – похороны Тургенева, Достоевского, Писемского, из которых «в зрительную память врезался неизгладимо Достоевский» [13, с. 137]. В склонном к мифологизации сознании Ремизова объединились Достоевский (вместе с ним – петрашевцы), кружок Каракозова и нечаевцы, все они были названы «Авраамами революции» [13, с. 334].

Кумир детства² выручает Ремизова длинными северными вечерами в ссылке: «Этот вечер с поляничным вареньем посвящен был Достоевскому: я начал читать “Униженные и оскорбленные” <...> Много прошло времени, — читаю Достоевского» [13, с. 406]. Учитывая, что лунатизм и отклонения от психической нормы (вспомним посвящение самого писателя в сумасшедшие) был одной из постоянных тем Ремизова, отметим метатекстовый код из «Униженных и оскорбленных» («Много прошло времени...»), объединяющий эпилептический припадок Нелли и состояние Оде.

¹ Об интертекстуальности книги «Иверень», о первом «ссылном» романе Ремизова и о других параллелях Ремизов-Достоевский подробно говорится в статье [3].

² «В доме Найденовых я услышал в самом раннем детстве имена, ставшие для меня такими близкими и своими, к ним я присоединяю и свое нераздельно. Эти имена: Киреевские, Аксаковы, Хомяков, Самарин, Кошелев, Черкасский, Чижов, Погодин — “Москвитянин”, “Русская Беседа”, “Московский Сборник”, “День”. Поминался и Катков и Герцен, Тертый Филиппов, Аполлон Григорьев, Страхов, Достоевский и Лесков» [13, с. 294].

Как представитель гоголевско-достоевского направления в русской литературе, Ремизов обнаруживал истоки их творчества в польской культуре, улавливая общую тональность в темах тоски и скорби, в тяготении к нарративу безумия. Неслучайно пронизательный критик М. Кузмин заметил, что сам Ремизов, переводя Пшибышевского, не мог пропустить очевидного сходства: «При имени А. М. Ремизова нам вспоминаются Гоголь, Достоевский, Пшибышевский. Из славянских родичей никого не найдем. Тот же острый, расколотый и мятущийся дух, какая-то истерическая неуравновешенность, тяжелая атмосфера – воздух, который “лопатой не промесишь”, – те же экстренные положения, не чуждые мелодрамы, тот же изломанный синтаксис – явно роднят этих столь “непохожих” писателей» [8, с. 22–23].

Нельзя забывать о склонности Ремизова к мифологизации собственной жизни: друзья отмечали, что он «вечно кого-нибудь мистифицировал, вечно выдумывал невероятные истории, интриговал ради интриги, шутил и ловко умел извлекать из людей и обстоятельство все, что ему нужно, прикидываясь иногда казанской сиротою» [14, с. 170].

Многослойность ремизовской памяти позволяет «склеить» общую картину авторского мира из «мозаичных» воспоминаний, которые Ремизов использовал в качестве готовых компонентов в разных произведениях. Одним из «слоев» авторского художественного мира являются образы поляков в книге «Иверень», а также в переписке с современниками. Анализ этих образов позволяет реконструировать польский текст Ремизова.

Список литературы и источников

1. *Edmund Charaszkiewicz. Przebudowa wschodu Europy, Niepodległość.* London. 1955.

2. *Блищ Н. Л.* Звукосимволистская интерпретация повести Н. В. Гоголя «Вий» в металитературных рефлексиях А. М. Ремизова // Научные труды кафедры русской литературы БГУ. Минск, 2012. Вып. VII.

3. *Блищ Н. Л.* Иверень А. М. Ремизова: автобиографическое метаповествование // Научные труды кафедры русской литературы БГУ. Минск, 2004. Вып. III.

4. Блиц Н. Польская «призма» в автобиографических рефлексиях А. М. Ремизова // Славянские литературы в контексте мировой. Минск, 2011.

5. Грачева А. Между святой Русью и советской Россией. Алексей Ремизов в эпоху второй русской революции // А. М. Ремизов. Собр. соч. М., 2000. Т. 5. Взвихрённая Русь.

6. Доценко С. Н. А. М. Ремизов и Ф. М. Достоевский: поэтика палимпсеста // Русская литература: Историко-литературный журнал. 10/2007. № 4.

7. Ильин И. А. О любезности: Социально-психологический опыт; Основы художества: О совершенном в искусстве; О тьме и просветлении: Книга художественной критики: Бунин, Ремизов, Шмелев // Ильин И. А. Собр. соч.: в 10 т. Т. 6. Кн. 1. М., 1996.

8. Кузмин М. [Рец. на кн.]: Ремизов А. М. Рассказы // «Аполлон». 1910. № 3.

9. Петрова М. Г. Блок и народническая демократия // Литературное наследство. Т. 92: Александр Блок: Новые материалы и исследования. М., 1987. Кн. 4.

10. Письма А. М. Ремизова к П. Е. Щеголеву. Часть II. Одесса. Херсон. Одесса. Киев (1903—1904) // Ежегодник рукописного отдела Пушкинского дома на 1997 год. СПб., 2002.

11. Раевская-Хьюз О. Волшебная сказка в книге Ремизова Иверень // Ремизов А. М. Собр. соч.: в 10 т. М., 2000. Т. 8.

12. Резникова Н. Огненная память: воспоминания о Алексее Ремизове. Berkeley, 1980.

13. Ремизов А. Иверень // А. М. Ремизов. Собр. соч.: в 10 томах. М., 2000. Т. 8.

14. Чулков Г. Годы странствий. М., 1930.